Еська

Автор:
Михаил Першин

Еська

Михаил Першин

Феерически смешное чтение, от которого до самой последней страницы невозможно оторваться. «Еська» – это вольные фантазии на тему заветных сказок Афанасьева. Звери в лесах, русалки в реках, ведьмы в избушках, чудовища, цари и простые люди – персонажи этой книги – подвержены всесокрушающему чувству любви. Всех спасет и утешит веселый, предприимчивый Еська, обладатель многочисленных мужских достоинств, и самых главных из них – ума и доброй души.

Детям до 16 лет читать запрещается.

Михаил Першин

Еська

«Разрозненные упоминания о Еське (Естьке, Истьке, Быстьке, Бытьке, Сутьке, Жистьке, а также Етьке и даже Е(И)титьке) встречаются в преданиях Архангельской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Волынской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Елизаветпольской, Енисейской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Подольской, Псковской, Рязанской, Самарской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Ставропольской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тобольской, Томской, Тульской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Ярославской и ряда других губерний.

Любопытно, что этот герой не упоминается ни в одном из обнаруженных на сегодняшний день письменных источников. Представители как светской, так и духовной власти, закрывая глаза на многие явления народного творчества, выходящие далеко за рамки официально признанной морали, с удивительным упорством пытались искоренить из народной памяти именно этот персонаж.

Ещё одной характерной особенностью этого героя является то, что крайне редко Еська фигурирует в рассказах, передаваемых сказителями-мужчинами. Более того, известно множество случаев, когда мужья и свекры сказительниц преследовали их с необъяснимой жестокостью, что, впрочем, не смогло полностью искоренить память о Еське. О чем и свидетельствует факт выхода в свет данной работы».

(Из монографии Л. В. Колченковой-Далос «Мифы о мифологии, или Забытая память», Спб, 1913; Цит. по единств. сохр. экз. изд., уничт. по частям в 1913, 1918, 1934, 1947, 1959, 1965, 1973, 1987, 1995, 2000 гг.)

Предлагая читателю настоящее издание, автор делает попытку вернуть народу одного из его истинных героев – скромного труженика на ниве приумножения простого человеческого счастья – и рассчитывает на снисхождение читателя к литературным слабостям нижеследующего текста, составленного им буквально по отдельным словам и обрывкам фраз, дошедшим до наших дней.

КАК ЕСЬКА ИЗ ДОМУ УШЁЛ

Жил-был мужик. Не богатый, не бедный, так себе, серединка на половинку. И было у него два сына. Старший, Мартемьян, да младший, Еська. Мартемьян женат был, а Еська мал.

Помер мужик, и стал Еська у брата как меньшой жить. По дому помогает, корову пасёт, с утра до ночи покоя не знает. От колодца к стойлу, от стойла к амбару, оттуда – за дровами, в хату – из хаты, в хату – из хаты. Как пойдёт с рассвета вёрсты на муде наматывать, так к вечерней заре спиндометрто едва по ляжкам

шлёпает. А жена Мартемьянова, Сирюха, невзлюбила его. Может, оттого, что своих детей не было. Вот и злилась. Что Еська ни сделает, всё ей худо.

Мартемьяну-то по-своему от Сирюхи доставалось. Что ни ночь, она под его влезет, да и давай ныкать: и такой, мол, ты и сякой, мужнин долг исполнять ленишься, вот и детей нам Господь не посылает. Мартемьян-то как может старается. Да только ничегошеньки у него не выходит.

– Ты бы, – говорит, – Сирюш, мне хоть денёк дала передохнуть. Может бы и вышло что.

А она всё своё: хвать его лапищей за причинное место и тянет. Туды-сюды, туды-сюды. И такая мастерица она была на это самое дело, что и мёртвый бы встал да сказал: «Давай уж, Сиря, я тебе напоследок жару задам, а там уж хоть в самое пекло». Да Мартемьян-то хоть и живой был, а, видать, хуже спокойника. Оно ведь, знамо дело, как по кругу катится: ночь проёрзаешь под Сюришкиной рукой, а с рассветом в поле. К вечеру уж и ноги-то еле волочишь, чего ж об остальном толковать. А она обратно за своё.

Еська-то ночью на сеновале, ему и ведать не ведомо, чего там брат с женой куролесят. Да и мал был об этом деле соображать. Однако чует, житья ему ни вблизи, ни в самой дальней проспективе не предвидится. Злая баба ведь хуже ведмедя-шатуна. Ну, може, не хуже, так точка в точку как есть шатун. А тут ещё парень безответный под рукой. Да кака? ещё рука-то! Чего ночью Мартемьяновой елде недомерено, днём Еськиному затылку доставалось. И уж кому из братьев хужей от этой самой руки было, не нам с вами знать.

«На что мне, – Еська думает, – тако житьё? Ни радости, ни сладости».

И пошёл топиться.

Выбрал местечко самое для этого дела подходящее: бережок чтоб покруче, а омут поглубже. Стал с жизнью прощаться. Направо, налево поклонился: деревьям, что весело шумели, ветерку, что по щеке его гладил ласково, да и самой водице, что принять его должна была.

Уж совсем было собрался, как чует: слить хочется, силы терпеть нету. «Что ж такое? – думает про себя. – Мне через мгновенье какое-нибудь вовсе уж ничё не

захочется, а тут этакое дело».

Но уж, ясно коромысло, тут не до смерти. Пока не поссыт, и думать ни об чём не может.

Спустил порточки свои латаные, да и побрызгал на травку. Потом повернулся к речке, и – бултых.

Только чует, не тонет никак. Нырк вниз, а его на?верх выносит. Нырк опять, и снова такая ж експедиция.

«Эх-ма, – говорит сам себе, – даже вода меня принимать не желает».

И вдруг голос слышится:

– Это не вода, это я тебя пожалела.

Глядит: а рядом бабёнка плещется. Ладная такая, фигуристая, титьки будь здоров, почище, чем у Сирюхи братниной.

– Я, – говорит, – русалка.

И для пущей наглядности хвостом из воды махнула. Та?к ведь и есть: хвост заместо ног. А уж о жопе или мандушке там – это и думать не моги: сплошь чешуя. Вот как. А она продолжает:

– Ты топиться собрался, с жизнью простился. Но и в последний миг в чисту водицу сикать не стал. За то я тебя и взлюбила. И сама тебя не принимаю, и подругам накажу: тебя не заманивать да в круг наш не принимать.

– Да я ведь сам к вам желаю, – Еська отвечает. – Не любо мне жить на свете. Это что за порядки такие, чтоб русалки живого человека не принимали.

– А на чё ты нам такой сдался? У нас тута своей нудоты хватает. Вот когда ты не с тоской, а с радостью к нам придёшь, тогда милости просим.

Плеснула хвостом, волна поднялась, да Еську на самое высокое место берега и выплеснула. Он вниз поглядел: никого будто и не было.

Отряхнулся Еська, словно пёс, да и сел думу думать: то ли приснилось мне это, то ли нет. Вроде бы, не приснилось: вода так струйками и стекает. Не иначе, взаправду из воды невредим вышел. Не судьба, выходит. Жить придётся.

Разделся Еська, повесил одежонку на ветку, чтоб мокрым домой не являться, прилёг под иву, да и заснул.

Уж чего уж Еське снилось, это нам неведомо, потому мы в чужие сны заглядывать не умеем. Да и недолго спать ему пришлось. Чует он во сне, будто его кто-то промеж ног схватил, да и тянет.

Отворил Еська глаза: матушка ро?дная! – это ж Сирюха.

Она, выходит, увидала, что пропал Еська, да и пошла искать. Вот и нашла!

«Ну, – думает Еська, – конец мой пришёл. Не пожелала мне русалка лёгкой смертушки, так страшной гибелью сгину».

Только Сирюха как-то на него глядит странно. И вовсе гибели его, вроде, не желает. Наоборот: к себе прижимает, да елдушку его из ладони не выпущает.

– Милый ты мой братик, – говорит, – я думала: малой ты, малой, а ты вон како хозяйство отрастил. Замёрз тут на ветру, мокренький да голенький. Иди ко мне, деточка, уж я тя отогрею.

Еська, ясно дело, спервоначалу решил, что она с ума соскочила от злости. После смекнул: заманивает, чтоб побольней ударить. Да только он уж вовсе рядышком, промеж титек ейных носом упёрся, аж дышать трудно. Бей – не хочу. А не бьёт.

– Утешь ты меня, братик милый. Сил нету терпеть. Горит аж всё внутри.

Отвела его от груди, ноги свои расставляет. Еська отворачивается: больно срамно глядеть. Да и в толк взять не может, чего она хочет. А она его личико-то цалует да к себе поворачивает. И такая пред ним картина открылася, что ни в

сказке сказать, ни пером описать невозможно. Промеж ног-то Сирюхиных. Вокруг волосёнки кучерявые, а посредь них уста распахнутые, слюнёю сладкой исходящие, язычка разве что нет, так зато губки шевелятся, зовут будто: поди сюда, мил-дружочек.

Еська и смекнул: у коров-то с быками он не раз это дело наблюдал. Только не ведал, что и люди так же.

– Погодь, – говорит, – Сирюша, я ведь ещё маленький.

– Большой, большой, – та в ответ. – Гляди, какой огромный.

И на елду его кажет. А она поднялась – мало не на локоть, да к Сирюхе тянется. А баба-то шепотком-шепотком, видать, на громкие речи сил уж нет:

– Вишь-ты, – говорит, – он умней тебя выходит, сам знает, чего нужно.

Ну и, ясно дело, всё по-ейному вышло. Никуда Еська не делся.

И стала с тех пор Сирюха с ним ласковая. То пирожок даст, то поясок атласный с ярманки привезёт, а уж пряники – это само собой. Только уж от дела отлынивать не даёт. Кажин день: Мартемьян – в поле, а она Еську за руку, и – давай, справляй должок братний. Чего тот не доделал, с тебя причитается.

Да и Мартемьяну жить полегче стало. Уж не кажну ночь она его теребит, уснуть не даёт. Глаз у Мартемьяна заблестел, да и в теле округлость наблюдаться стала.

И понесла, наконец, Сирюха. А как тут по-иному-то выйтить могло: мужик здоровый да весёлый старается. Да братец помогает.

И говорит Сирюха Еське:

– Милый мой дружочек, спас ты мою душеньку бабью. Ещё бы малость – и я бы и тебя, и брата твоего, и себя бы порешила. Заперла бы избу, да и подпалила со всеми с троими бы. А ты меня к жизни воротил. И новую жизнь нам в семью подарил. Чую я, что Мартемьяново это семя. Ну и слава Господу, что не твоё. А

то б я со стыда жить не могла. Только пришла нам пора, друг ты мой любезный, прощаться. Нельзя тебе теперь жить с нами, с дитём невинным, да с отцом его бестолковым, да со мной, грешной. Бери чего хошь: денег, одёжи, лошадь бери – только оставь меня с думами моими да с памятью сладкой.

– Ничё мне не надо, – Еська ей отвечает. – Хлеба каравай только да сапог пару покрепче, так ты же сама мне сапожки подарила. Обуюсь и пойду.

Ну, Сирюха, ясно дело, в слёзы: как, мол, я жить-то теперь буду, никогда, мол, тебя не увижу, да никто меня не утешит без Есечки мово ненаглядного. Вот кабы хоть кусочек мне от тебя остался, елдушечка твоя сладенькая.

– Ну уж этого, Сирюша, не проси. Елдушка мне и самому не без надобности. А коли для памяти чего, то энто можно соорудить.

Сорвал Еська в огороде морковку покрепче да подлиньше, приложил к ей две картофелины, мудяшечек навроде. Поглядел-поглядел. Нет, думает, не годится. Взял да морковку повернул: к картохе – узким концом, а широкой залупкой – кнаружи. Да и дал эту механику Сирюхе. Пущай любуется да об ём вспоминает.

А сам пошёл, куды глаза глядели.

КАК ЕСЬКА ЧЕРЕЗ ЛЕС ШЁЛ

1

Идёт себе Еська. Сапоги снял: для пыли дорожной, мол, и голые пятки хороши. На палку повесил вместе с котомкой, в которой хлеба краюха лежала. Палку – на плечо. Идёт, посвистывает.

Вдруг слышит: по имени его кто-то окликает. Огляделся – никого. Почудилось, видать. Только дальше двинуться хотел, снова-здорово:

– Есь, Есюшка!..

Глядит: обочь дороги яма. Заглянул, а там старушонка. Седенькая, вся в лохмотьях. Пальчиком корявым манит:

– Пособи, добрый молодец. Выручи старую, Еся.

– Погоди, баушка, а откель ты имя моё знаешь?

– Да мало ль чего я знаю! И об чём ты мыслишь-думаешь, ведаю.

– Об чём это?

– Ан вот выньми меня – скажу.

– Ан скажи сперва.

Слово за слово, не сдаётся Еська.

– Ладно, – бабка говорит. – Слушай, милок. Мыслишь ты об разном. А може, и об одном.

– Как так?

– А вот как. Ветерок давеча подул, ты чё подумал? «Будто Сирюша по волосам провела». Так ли?

– Так, слово в слово так.

– А как солнышко припекло, ты рази ж не вздохнул: «Не горячее ль дыхание Сирюшино почуялось?» Верно, аль нет?

– Верно!

– А давеча, водицы студёной с ручья отхлебнувши, не вспомнил ли ты об устах Сирюшиных? Вот и выходит – об разном, да об одном. Аль нет?

– Твоя правда. Ну, не тужи! Я мигом.

Сапоги с котомкой наземь скинул, а палку ей опустил. Она хвать, да палка напополам и переломилась.

– Эка я неловкая!

– Да что ты, бабусь, это палка трухлявая попалась.

Опоясок скинул, один конец на руку намотал, другой ей спускает. От её прикосновения пояс-то и лопнул. Бабка едва не в слёзы. А Еська:

– Не горюй, родимая. Он у меня старенький был, я всё одно с им расставаться думал.

Встал на карачки и руку вниз протянул. Дотянулся до старушки, а она – даром, что с пушинку весом, – как деранёт, он в яму-то и кувырк! Тут уж бабка вовсе загоревала:

– Ох, – говорит, – шёл бы ты дорожкой своей. Зря и останавливался, родимый.

– Погодь, погодь, баушка. Я тебя мигом подсажу.

И хвать её за жопу: вылазь, мол. А там и мяса не нашшупать. Она ох да ах:

– Меня, мол, лет уж с полтораста никто за сраку не лапал.

Еська руки-то и убрал. Дык ещё хужей.

– Верно, верно, – старая убивается. – Не замай ты меня, никудышную. Уж так и так моим косточкам старым в землице почивать давно надобно. Пущай останусь я тута, а ты выбирайся да дале ступай.

– Да что ты плачешь-то? Это кому это почивать пора? Ты ж ещё баба хоть куды. Во, гляди, каку? гладку задницу наела.

И сызнова цоп её. Однако чует: под рукой впрямь гладко да мясисто стало. А бабка будто и не слышит его:

– Ничё у меня бабьего не осталося, ни жопы, ни титек.

Да и грудь нараспашку, а там мочала серые, морщинами сплошь изрытые, да на концах словно щенячьи сикули книзу глядят.

– Да не, бабуль, – Еська ей толкует. – Ты на себя напраслину не возводи. Гляди, како вымя сочно, чисто молочно.

Ладонью провёл по титькам, а они, впрямь, поднялись мало не к подбородку. Гладеньки да сладеньки, цвета розового, на солнышке так и блестят, будто маслом политые. Сосочки торчком стоят, в разны стороны глядят.

Еська так и стал столбом, бабку под жопу да за титьки держит, рук отвесть не может. А она всё своё:

– Уж не вспомнить мне, когда и цаловалась я. Нешто это жисть такая. Нет уж, Есюшка, оставь меня тута пропадать.

Однако пасть свою разевает да губы вперёд тянет. А они-то словно пергаменты, зубов за ими не видать ни единого, один язык шевелится, ровно змей в норе.

Тут уж Еське, понятно, отступать негоже. Протянул и он губы. И только ейных коснулся, как чует: они влажны стали, язычок бархатный по зубам евонным так и шустрит. Он своим пошевелил – а тама уж и ейных собственных зубов полно.

И стала старуха молодухой. Руки в боки:

– Ну, чё? Не хужей я твоей Сирюшки-то?

– Ой, касатка ты моя, лучше, куды ей до тебя!

– Ну, а раз так, то и ты счастья свово не проморгай. Оно ведь – счастье-то – то есть, а то оглянулся – и следа не увидать.

– Погоди, краса моя, сперва наружу выбраться надобно.

– Да куда ж выбираться-то, касатик?

А ямы-то и нет никакой. Стоят они на земле твёрдой, да ещё промеж дороги и ими кусты поднялись, нарочно, чтоб срам прикрыть.

Дале уж Еське указания без надобности. Тем паче, портки его распоясанные сами уж на земле лежали. Задрал он красавице юбчонку аж на саму голову, да сзади-то и засадил ей всё, что имел, ничего про запас не оставил. Как пошёл наяривать! А она вертится да ещё подзадоривает: не куксись, мол, шибче давай.

После на травку легла.

– Чтоб, – говорит, – личико твоё видеть ненаглядное.

И ляжки пошире расставила. Еська и спереди постарался. А после сбоку. И сызнова с тылу. И опять. И снова. И обратно.

Так до сумерек и проворочались. А как солнце земли коснулось, она Еську отвела от себя и так молвила:

– Всё, милок, уважил ты меня. А теперича мне пора. А то как мрак опустится, я обратно какая была сделаюсь.

Тут солнышко вовсе скрылось, и она исчезла.

Глядит Еська: сон это аль явь? Портки на нём крепко-натуго перепоясаны. Потрогал пояс – будто век здесь был. Нагнулся за котомкой, а рядом палка лежит целёхонька.

– Вишь ты! – Еська смекает. – Чё только не примерещится! Видать, пока я про Сирюху мыслил, солнышко-то и напекло.

Стал котомку к палке обратно прилаживать, а там чё-то перекатывается. Заглянул – яблочко румяное. Откель взялось? То-то, «примерещилось»!

2

Стал Еська дальше идти. И вскорости добрёл до леса. Пошёл по тропинке.

Идёт себе, видит: сидит под кустом Зайчиха. Горько плачет, слёзы ушьми утирает.

– Чё это с тобой, Заюшка?

– Иди своей дорогой, добрый человек.

– Да ты скажи, не робей. Может, пособлю чем?

– Нечем мне пособить. Живёт в нашем лесу мужичок. Сам с вершок, а залупа с горшок. Раньше-то он баб да девок ёб, которы в лес по грибы да по ягоды ходили. А как они ходить перестали, так за зверей взялся. Давеча меня поймал, да и отодрал почём зря. Коли встретишь его, поквитайся за меня, горемычную.

– Ладно, Заюшка, поквитаюсь. А ты не горюй, слёзы зазря не лей.

И дале пошёл. Идёт – видит: сидит под берёзкой Лисица. Горько плачет, слёзы хвостом утирает.

– Чё это с тобой, Лисонька?

– Иди своей дорогой, добрый человек.

– Да ты скажи, не робей. Может, пособлю чем?

– Нечем мне пособить. Живёт в нашем лесу мужичок. Сам с вершок, а залупа с горшок. Раньше-то он баб да девок ёб, которы в лес по грибы да по ягоды ходили. А как они ходить перестали, так за зверей взялся. Спервоначалу Зайчиху, а давеча меня поймал, да и отодрал почём зря. Коли встретишь его, поквитайся за меня, горемычную.

– Ладно, Лисонька, поквитаюсь. А ты не горюй, слёзы зазря не лей.

И дале пошёл. Идёт – видит: сидит под ёлкою Волчиха. Горько плачет, слёзы лапою утирает.

– Чё это с тобой, Волчихушка?

– Иди своей дорогой, добрый человек.

– Да ты скажи, не робей. Может, пособлю чем?

А сам-то уж и без словесов излишних чует, какая у ней печаль-кручина. Так и есть: сам с вершок, залупа обратно же размера невразмерного; раньше баб да девок то да сё, а нынче – иное-десятое. В обчем, как по писаному – всё Волчиха ему истолковала, чего он и без энтих слов знал преотлично. И обратно: коли встретишь, так поквитайся, мол, за меня.

Еська и Волчихе те же слова сказал, что и прочим.

Идёт он дале и сам про себя думает: на сей-то раз уж точно самого злодея повстречаю. Боле уж бы некого еть. Как не так!

Вышел на поляну, а под дубом-то – Медведиха! Неужто и её осилил? В том-то и история, что и её!

Чего Медведиха баяла, того мы с вами перетолковывать не станем, потому уж слово в слово энту песнь горестну знаем, а только выслушал её Еська, да и не стал утешать, а, насупротив того, тако слово молвил:

– Ты, – говорит, – мне, Мишанюшка, сосёнку посмолистей завали.

Это Медведихе плёвое дело. Навалилась и сосну повалила.

– А ну-ка, – Еська кличет, – Волчихушка, обломай-ка все ветки с сучками.

Волчиха из-за деревьев выскочила да вмиг все сучки обломала.

– А теперь, Заюшка, очисть сосёнку от коры.

Зайчиха прискакала да вмиг ствол добела обгрызла.

Следом Лисица прибежала. Хвостом виляет, спрашивает:

– Чего это ты меня в помогу не кличешь?

– Погоди, – Еська в ответ. – Кликну и тебя.

Достал ножик, да из сосны девку вырезал.

– Вот и твой черёд пристал, – Лисице говорит. – Дай-ка мне клочок шёрстки своей рыжей.

Взял шерсть, в смоле сосновой вымазал да промеж ног девке приладил. Поставил её посредь поляны, а сам за деревом укрылся. И звери попрятались.

Час миновал, другой пошёл. Слышат: ветки затрещали. Идёт кто-то. И точно: из чащи мужичок выходит. Сам с вершок, а залупа с горшок. Увидал девку, остановился. Глаз с рыжего клочка не сводит. Потом как кинется, облапил её, да и прилип.

Тут Медведиха из своего укрытия как выскочит, лапу занесла над ним. Пришибла бы, кабы её Еська не остановил.

– Погоди, – говорит и к мужичку обращается: – Что ж ты, охальник, зверей лесных позоришь? Мало ль ты девок человечьих попортил?

– Не казните меня. Выслушайте сперва историю мою. Зовут меня Милентием. Был я некогда красив та?к, что девки мимо пройти не могли. А бабы – те вовсе проходу не давали. Сладко мне жилось на свете. Шёл я раз по дороге, слышу: кличет меня кто-то. Гляжу: старушонка в яме. Такая гадкая, аж свет божий позорит. «Подсоби, – молвит, – сынок». А я ей: «Какой я тебе сынок? Уж правнуки твои, верно, в земле сгнили, а ты всё небо коптишь. Не жди от меня помоги, а коль сгинешь ты вовсе, так и то мне люди в заслугу поставят». Сказал так, да и

елду свою показал: вот, мол, тебе вся моя помога. И тут у старой рука-то вытянулась да аккурат до моей мотни. Хвать за залупу и стала тянуть. И всего меня в неё втащила. Только чуток ног да рук, да от головы маковка одна снаружи осталися. Стал я сам с вершок, а залупа с горшок. А она ещё сказала: «Будешь ты отныне любую тварь женска пола еть, передыху не зная». Так что не своим хотением, а злокозненными чарами я вас, зве?рушки, обидел. А теперь, когда знаете, что было со мной, убейте вы меня, горемычного. А иначе освобожусь я, да и сызнова за вас возьмусь, и уж мандушкам вашим спасенья не видать.

Только молвил он это, как девка сосновая голос подала:

– Как это ты, мил-друг, освободишься-то? Будто я тя выпущу! Вечно будешь в объятиях моих.

– Погодь-погодь, – Еська смекает. – Яблочком не желаешь угоститься? И старушкин подарок из котомки достаёт.

– До гостинцев ли мне! – Милентий застонал.

– А ты отведай.

Тот яблочко надкусил, да и расти стал. Пока доел, превратился в такого ладного парня, что и звери обиды свои позабыли. А ка?к яблочко сочное было, то сок его на девку брызнул, и она живой да мягкой стала. Только шерсть рыжая на мандушке как была, так и осталась.

– Пойдём в деревню, – Милентий зовёт.

– Нет уж, я в лесу родилась, тут и жизнь коротать буду.

– И то верно, – он молвит. – Неровён час, узнают мужики, что это я всех девок перепортил, зашибут ведь.

Так и остались Милентий с Соснушкой в лесу жить.

А Еська дале пошёл.

КАК ЕСЬКА ЕБИЦКУЮ СИЛУ ОДОЛЕЛ

1

Шёл Еська куда дорога вела. Она направо, и он направо. Она налево, и Еська туда. Мосток так мосток, овраг так овраг.

Дошёл до корчмы.

Корчмарша на крыльце сидит, рукой голову подпирает.

– Здоро?во, хозяйка!

Та только головой кивнула.

– Чего грустна? Принимай гостя, враз развеселишься.

– Ну заходи, человек прохожий.

Встала, подолом перед носом Еськиным шварк. Пятки только белые мелькнули.

Зашли. Сел Еська за стол.

– Чем расплачиваться будешь, человек прохожий? Серебро есть, аль товар какой?

– Серебра у меня немерено, да как на грех, обронилось по пути. Вишь, сколько на дороге лежит?

– Да то ж пыль.

– Вот это моё серебро и есть, – Еська во весь рот щерится.

Она и руки в боки. Брови нахмурила:

– Так чего ты хочешь?

– А чего все другие прохожие хотели?

– У других прохожих грош за душой водился.

Слово за слово, она его взашей гонит. А тут на порог новый гость вступил. Ростом под притолоку, плечи дверь загораживают, ус кверху торчит, за ресницы цепляется. Горсть монет на стол высыпал, да как крикнет:

– Эй, хозяйка! Вина тащи. Да не бутыль, а бочонок. Мяса давай. Да не ногу, а барана цельного. Хлеба ковригу на полпуда неси.

Уж такому-то гостю хозяйке улыбнуться б. Да не тут-то было:

– Садись, – говорит, а сама обратно хмурится. – Щас принесу.

Ну и Еська промеж дела в уголке пристроился. Может, думает, от этакого едока что и мне достанется.

Куды там! Ни косточки, ни крошки не оставил. Всё дочиста слизнул, будто и не было ничего на столе. Но и тут баба не удивилась, не спросила, откель он такой явился. Нет, Еська смекает, неспроста это.

А гость-то нажрался, да и, как водится, руку хозяйке под юбку запускает, промеж ног попасть хочет. И снова она – ничего: не осерчала, не обругала его, но и не улыбнулась, не ободрила. Отошла просто.

– Погоди-ка, хозяйка, – он говорит. – Больно ты хмура. Так ли надо гостей привечать?

– Да много вас тут бродит, не напривечаешься.

– А ты не всех. Ты одного. Аль не слыхала, как говорят: каков едок, таков и ебок. Уж я не посрамлю мужского звания.

А баба-то в слёзы:

– Да отстань, окаянный. Будто б я сама не желала поваляться? Будто у меня внутри не горит всё огнём негасимым?

– Так а что ж ты нелюбезна така?

– Да где уж любезной быть! Муж у меня – Ебицкая Сила.

– Так он что ж, вовсе тя, что ль, заёб?

– Куды там! Раз-то в год это есть. Грех сказать, что нет. Так отделает, что неделю в себя прихожу. Да чтоб силы этой самой ебицкой набраться, он год без дня на полатях спит. После на день глаза отворит, за меня примется. Да и вновь на срок этот клятущий, на год без дня, сваливается. А я неделю-то в себя прихожу, другу неделю лебёдушкой летаю, третью-то неделю павой ступаю, а опосля четвёртой сызнова огнём горю. Этак-то и живём. А ещё бают, триста уж лет ему, шестерых жён в могилу загнал. А чё ему сдеется, по дню-то в год живёт, ирод. Ох, чую, и седьмая скоро за теми горемычными пойдёт, и некому меня и оплакать будет.

– Да что ж ты, – гость говорит, – бабьим своим добром не пользуешься? Пущай он раз в год твою бороздку пробороним, а год-то без дня – твой.

– Да кака? борозда-то? Об чём я и толкую! Прежде чем спать завалиться, он её, мандушку-то мою, слюнёй своей заклеивает. Вот этак-то палец облизнёт, по щёлке проведёт, и готово: ровно всё, шва не сыщешь.

– А как же он обратно её расклеивает?

– А вот как. Проснётся, поставит меня рачком да в сраку дунет – щель и разойдётся. Во? каков дух в нём ебицкий за год без дня набирается.

Тут гость смеяться начал. Минуту смеялся, другую, полчаса. Через час успокоился, говорит:

– Ловко! Ну, да и я не слабше него дунуть сумею. Становься, я сейчас тебя ослобоню.

Бабе-то страшненько: ну, как муженёк, проснувшись, заметит, что без него на жёнкину ниву пахарь сыскался. Да больно стосковалась, видать.

На коленки встала да юбку сама на голову задрала. А жопа-то у ей гладкая, чистая, золотится аж. Свет с окошка косо по ей скользит, сквозь пушок пронырывает. И промеж половинок круглых дырочка малая. Зато уж дале ни складки, ни щёлки – ровное место.

Гость сзади пристроился, тоже на коленках, понятное дело. В самую ложбинку носом упёрся. Да как надуется. Она аж зубами заскрипела. Больно ей, видать. Да ещё б не больно: он красный, у ей слёзы из глаз катятся. Только ничегошеньки не ладится. Она уж раздулася, бедная, а щель не отворяется.

Вдруг он как перданёт с натуги. Аж портки на заду лопнули. Вскочил, уж и не красный, а чёрный рожею.

– Тьфу на тебя! И на мужа твоего злоебучего.

Хвать шапку, да так с разодраными портками с порога и побёг.

А она как стояла, так на пол и повалилась. И не плачем заплакала, а воем завыла.

Еська из угла вышел, по волосам её гладит, слова разные говорит:

– Не плачь, мол, не горе это у тебя, а так, горюшко. Я тебе пособлю.

Она только рукой машет: мол, богатырь такой не пособил, куда ж ты, желторотый-то, лезешь.

А Еська недолго думая хвать нож со стола.

– Отворяй ноги, – говорит.

Она сперва напужалась, а потом лишь вздохнула:

– А, всё уж равно. Пропадать, так и пущай.

Он как промеж ног резанёт. Глядь: а кровь-то и не идёт. Видать, в саму точку попал, ровно по щёлке прошёлся. И краешки её разошлись, на стороны загнулись, словно воротничок слюнявый.

Ну? баба Еську цаловать! Да и он теряться не стал, на неё влез, да и плуг свой в борозду прямым ходом направил.

Долго ли, коротко валялися, а время вставать пришло. Встала она, юбчонку обдёрнула, да едва всю кладовку на стол не перестаскала: ешь, мол, милёночек.

Еське столько и не надобно. Пирожка отломил, мясца кусочек, кваском запил, и встаёт, поклон хозяйке отвешивает. А она его не пущает:

– Оставайся, сокол мой ясный. До конца года-то ещё времени немерено. Никого не хочу, одного тебя, серебряной.

Ну, а Еське-то и подавно спешить некуда. Остался с корчмаршей жить. А её Анфисой звали.

2

Живут себе Еська с Анфисой, день живут, неделю живут, месяц живут. Полгода проходит, она и говорит:

– Через день муженёк мой, Ебицкая Сила, проснётся. Не простит он того, что? мы с тобою сотворили, щёлку прежде срока отворили. Ступай, родимый, своим путём. Мне-то уж всё одно пропадать, а тебе за что страдания? Подсластил ты конец мой, и на том спасибо.

Но не таков Еська, чтоб бабу в беде бросить.

– Постой, – говорит. – Я тебя отчинил, мне обратно и зачинять. Веди меня к полатям, где Ебицкая Сила спит.

Пошли они к Ебицкой Силе, глядит Еська: он и впрямь лежит, посапывает. Еська ему пасть отворил, тот и не заметил, язык на сторону вывалил.

А Еське того и надобно: по языку пальцем поелозил, да весь слюнёй евонной липкой вымазал.

Анфисе ноги раздвинул и пальцем по щёлке проводит: сейчас, мол, всё обратно сойдётся.

И всё бы ладно, да грех случился. Не удержался Еська: больно сладка-то мандушка Анфисина. Сил нет поверх водить, палец внутрь-то и сунулся. В самый сок мокнулся, до сердцевинки добрался. Она аж присела: ещё, мол, ещё, миленький. Он ещё, и она: «Ещё». Он – ещё, и она.

А как выма?ть палец, то ничего и не выходит: слюня проклятая так схватила, что не разомкнёшь.

Делать нечего, всю ноченьку так и провели. Последню ночь, саму сладку.

А наутро слышат шум да гром. Это Ебицкая Сила с полатей слазит. Анфиса перепугалась, а Еська под юбку залез да притаился: авось, Бог вынесет.

Входит Ебицкая Сила в горницу, потягивается да позёвывает. Потом носом по сторонам повёл:

– А что это, Анфисушка, будто мужичьим духом пахнет? Не привечала ль ты кого, пока я задрёмывал?

– Да что ты, Силушка! – Анфиса отвечает и окошко отворяет. – Кого б это я стала привечать? Шли тут прохожие, проезжали проезжие. Я их потчевала. От них дух и остался. Сейчас выветрится.

– Ну, ладно, коли так. Поглядим, как ты муженька своего попотчуешь.

Анфиса к печке, и Еська под юбкой ногами семенит.

– А что это, Анфисушка, – Ебицкая Сила говорит, – будто четыре ноги по полу топают?

– Да это, Силушка, я от радости, что тебя вижу, ногами-то сучу вдвое чаще.

– Ну, ладно, коли так.

И за пироги взялся.

– А что это, Анфисушка, – Ебицкая Сила говорит, – будто дыхание я чьё-то слышу окромя твово?

– Да это, Силушка, я от нетерпения дышу-то вдвое чаще.

– Ну, ладно, коли так.

И за чай принялся с пряниками.

– А что это, Анфисушка, – Ебицкая Сила говорит, – будто два сердца бьются?

– Да это, Силушка, моё от желания колотится вдвое чаще.

– Ну, ладно, коли так. Становися предо мною как положено.

Анфиса на карачки опустилася, юбку задёрнула, да подолом Еську прикрывает. Ебицкая Сила к жопе ейной подошёл да как дунет. Вмиг мандушка разинулась, а Еську ветром с-под юбки-то и вынесло.

– Эге! – Ебицкая Сила говорит. – Не твой ли дух я чуял? Не твои ль шаги слышал? Не твоё ль сердце ёкало? Верно ёкало, конец те пришёл. Сейчас я как дуну, на саму дальню вершину, на ебицку высоту тя заброшу! Там твоя погибель и будет. А с тобой, Анфиса, после поквитаюсь.

Вывел он Еську из дому, поставил посреди двора. На корточки присел, надулся весь, да как дунет. Еська к забору отлетел, да так стукнулся, что показалось ему, будто впрямь конец пришёл. Однако жив ещё.

– Эге, – Ебицкая Сила говорит. – Видать, Анфиска, на твою жопу весь мой дух ушёл. Вздремнуть надобно, силушки ебицой набраться. Да не радуйтесь: на сей раз всего на неделю засну, боле мне пока не надобно.

Запер он Еську в чулан, а сам обратно на полати забрался.

День Еська в чулане сидит, другой. Не ест, не пьёт. Анфиса за дверью плачет, убивается, а ничем помочь не может. Ключ-то Ебицкая Сила в кулаке зажал, да так стиснул – не разожмёшь.

А Еська ей говорит:

– Не убивайся, родная. А найди-ка ты лучше соломинку, пойди к Ебицкой Силе да осторожно в жопу-то ему вставь.

Анфиса так и сделала.

Неделя миновала. Ебицкая Сила с полатей поднялся, потянулся. После отпер чулан, сызнова Еську посреди двора ставит:

– Прощайся, – говорит, – с жизнью своей беспутной.

Да и присел, да и надулся. И тут-то весь его дух через соломинку как прыснет, он сам под небо взлетел, да и унёсся за горы. На саму дальню вершину, на ебицку высоту угодил.

Анфиса-то хоть и обрадовалась, да и всплакнула. Бабье дело оно такое: какой ни был, а всё жаль супружника-то.

Еську хотела было оставить у себя в мужьях, но он её поцаловал и так молвил:

– Спасибо тебе, Анфисушка, за хлеб-соль да за ласку твою. Только зажился я тута, пора в путь. А ты себе муженька среди прохожих-проезжих сыщешь.

Уж она его на прощанье ласкала, миловала:

– Век тебя помнить буду, Есюшка.

И пошёл он дале.

КАК ЕСЬКА ЦАРЕВИЧЕМ НЕ СТАЛ

Шёл-шёл Еська, да и добрёл до забора. В заборе ворота, в воротах стрелец стоит, пищаль в руке держит.

– Проваливай отселева, – говорит стрелец Еське.

– Постой, – Еська отвечает, – ты ж не знаешь, кто я таков, да за какой надобностью иду.

– Стоять я и так стою. Только никакой тебе надобности в нашем царстве быть не могёт. Потому у нас всех парней навроде тебя велено хватать да во дворец царский весть.

– Ну и веди!

– Ох, парень, – стрелец вздыхает. – Вороча?лся б ты лучше, пока рубеж не переступил. А уж как переступишь – будь благонамерен – схвачу, не замешкаю.

Еська, ясное дело, враз и переступил.

Стал стрелец Еську во дворец вести. А по пути таку историю поведал.

У царя ихнего дочка была. Нежелана Пантелевна. Царя тутошнего Пантелеем звали. А ей прозвание было Нежелана, потому как она никого не желала. А отец

серчал. Ему, вишь, наследник надобен. Спервоначалу он дочку за германского королевича замуж выдал. Да не схотела она его. Сбежал королевич, портков не застегнув. Ладно, выдал её царь за персидского шахича. И его не схотела. И шахич – туда же, только пыль поднял чувяками своими. И велел тогда царь всех парней к нему весть, мол, кто сумеет царевну усластить да сдобрить, тому он её в жёны и отдаст, а в приданое – полцарства. А коли нет, то в темницу бросит.

Пока это стрелец сказывал, дворец из-за поворота показался. Стрелец и молвит:

– Чего-то в брюхе у меня бурчит-ворочается. Ты погодь здеся, а я отлучусь на малость.

И шасть в кусты.

Пождал-пождал его Еська, да и стал травы собирать. Выходит стрелец:

– Ты ишо тута?

– Где ж мне быть? – Еська отвечает. – Вот возьми, я травки тебе нарвал целебной, выпей настою – враз брюхо пройдёт.

– Эх, глупый ты парень! Ничё у меня не болит. Это я так, чтоб тебе сбечь. Жаль мне тебя. Молоденький такой, а пропадёшь ни за грош. Да ты, я гляжу, больно глуп. Ну так и гний в темнице.

Ничего на это Еська не сказал. И вошли они во дворец.

Видит Еська: сидит на троне царь. Он доселе царей-то и на картинке не видывал, а тут живой! Но не спужался Еська, а низко поклонился, да и молвил:

– Я, батюшка царь, с пяток до маковки готов те услужить. Ну, а что промеж них, это уж само собой к службе готово.

– Ладно, – царь говорит. – Накормите молодца. А то не осилит он работы полуночной.

Слуги Еську под белы руки на кухню повели. Потому он покудова не жених считался, а только вроде как на спытании. И не полагалось ему ишо за столом царским сидеть. Да он не в обиде был.

Долго ли, коротко ль, вечер настал. Одели Еську в одёжи княжески да в опочивальню царевнину повели.

А Нежелана-то лицом пригожа, телом обильна, мягка. Чего б такой не желать никого? «Нет, – думает Еська, – тут дело нечисто».

– А что, – говорит, – Нежелана Пантелевна, больно скучны вы сидите. Может, как-никак, вдвоём-то поскучать весельше будет?

Это он так для етикету разговор начал. А она отвечает безо всякого етикета. Головы не вертает в его сторону и сквозь зубы этак молвит:

– Проваливал бы ты, парень. Али уж приляг подале от кровати, поспи последню ночку-то перед темницей. Там уж ковров-подушек не дадут.

Делать нечего, лёг Еська у двери, да и глаза закрыл. Однако не спит, а в щёлочку меж веками за Нежеланой Пантелевной наблюдает.

И вот что увидал. Сперва она, Нежелана-то Пантелевна, сидела у окошка тихонько так, да песню напевала.

А как полночь наступила, встала да к нему подошла.

– Эй, – говорит, – милёнок мой, никак, ты не спишь?

Молчит Еська, дышит ровнёхонько.

Тут она булавку вымает да в руку ему по саму головку всаживает. Но не шевельнулся Еська, только вздохнул поглубже, будто-словно сон ему снился.

– Ан не верю, что спишь, – Нежелана молвит.

Головешку красну из печки достаёт да на грудь ему ложит. Тут-то пошевелился Еська. Словно бы во сне, рукой повёл, да слегка почесал горячее место.

А царевна не успокаивается:

– Не обманешь, – говорит.

Ножик вострый берёт, портки с Еськи стягивает и до мудей дотягивается. Дотянулась левой ручкой своей, а в правой-то ножик блестит при свете лунном. Занесла руку – вот-вот оттяпает всю прелесть Еськину. И вновь он только ногами посучил. Будто промеж них зудило малость.

– Ну, ладно. Видать, впрямь спит, – Нежелана говорит.

Отошла к кровати своей, да и стала одёжу скидывать. Одно платье на пол упало, второе, потом рубахи пошли. Ровно семь одёж сбросила царевна и осталась в чём мать родила.

И стало вокруг светло как днём. Глядит Еська промеж ресниц: а под животом-то, под самой складочкой сладенькой, средь волосиков кучерявеньких – ровно пламя пылает. Ан не пламя, а цветок растёт: серёдка золотая, лепесточки серебряны, а листики вокруг изумрудны.

И стала царевна цветок свой обихаживать, лепесточки перебирать да ласкать. Водицы набрала, кажну складочку обмыла, разгладила. Сидит на краюшке кровати, цветком любуется да с ним разговаривает:

– Никому я тебя, цветик мой, не отдам. Потому в тебе вся моя радость, всё наслаждение. Ни сластей мне не надобно, ни нарядов. А и осерчает на меня батюшка – не боюсь я его гнева. Пущай хоть вовсе выгонит, другую царевну себе заведёт – всё одно я с тобой не расстанусь, ты усладой мне в изгнании будешь.

И пальчиками своими тонкими с ноготочками перламутровыми по лепесточкам-то проводит. Играла-играла с цветком – «Ну, – Еська думает, – до утра не наиграется». Притомилась, однако. Головку всё ниже к подушке клонить стала да задрёмывать. Наконец, вовсе сон её сморил.

Встал тогда Еська, подошёл к кровати ейной. Хотел было сорвать цветок, царевну от чар ослобонить, да больно она тихо лежала. И подумалось ему, что, мол, уж лучше навек сгинуть в темнице, чем сон этот нарушить. Лёг обратно к двери, да вмиг заснул.

И во сне явился к нему старец. Весь седой, борода до пояса, усы за спину свешиваются.

– Здравствуй, Еська, – говорит. – Я есть твой хранитель.

– Ангел, что ль? – Еська спрашивает.

– Да рази ж я на ангела похож? Просто хранитель. Дух.

– Так и подскажи, дух, как мне царевну-то спасти.

– Ты бы лучше не об ей, а об своём спасенье-то заботился. Вот послушай. Как первый луч зари в окошко опочивальни заглянет, на цветке её мандушном роса выпадет: на серёдке золотой – яхонтами, а на лепестках серебряных – жемчужинами. Подойди ты к ней, устами-то к цветку прильни, да и напейся росы этой. И превратишься ты в животную насекомую. Тут те в окошко прямой путь и будет. А как ты со дворца царского вылетишь да на первое крестьянское поле сядешь, вмиг обратно собой обернёшься.

И пропал старец-хранитель, будто вовсе его не было.

Открыл Еська глаза – в окошко первый луч зари смотрит. А на цветке-то роса. На золоте яхонты переливаются, по се?ребру жемчужины перекатываются. Встал Еська, свернул ковёр да под покрывало сунул – будто спит кто. А сам нагнулся к царевниному цветку сокровенному, да устами приник.

Жемчужину сглотнул – нега по телу разлилась, яхонт слизнул – тепло стало. Да, видно, задел царевну: пошевелилась она, рукой по животу провела, Еськиной щеки коснулась. Замер Еська – ну, ка?к проснётся. А она во сне улыбнулась и гладить его принялась.

Долго она гладила его аль нет, Еська и сам не знал. Только лучше этого ничего на свете быть не могло. Он, сердешный, и глаза закрыл, да губёшки приотворил, чтоб руку-то её нежную поцаловать. Тут-то в рот к нему ещё одна жемчужина возьми и закатись. И превратился Еська в животную насекомую.

А Нежелана как вскочит! На кровати села, головой в стороны поводит, глаза протирает. Никого вокруг нету. Цветок было погладила, да руку-то и отдёрнула:

– Экий ты холодный, – говорит. – Золотой да серебяный. Как я прежде сего не примечала? А вот мне во сне приснилося, будто ты тёплый да шелко?вый. Уж как я тебя холила-лелеяла. Вот кабы ты наяву такой был, вовсе бы от тебя не отрывалась.

А Еська всё это слышучи, ничего сказать не может, только крылышками своими тр-р-р-р да тр-р-р-р. Подлетел к царевне. Не успела она рукой пошевелить, как прямо внутрь цветка-то и кинулся. Знамо дело: насекомая – чего с неё взять?

Вскочила Нежелана на ноги, да и давай ловить Еську. А его промеж лепестков-то и не видать.

Она один в сторону отводит, он за другой прячется, она – за тот, а он уж промеж листьев скользнул да ляжечки её медовые усиками щекочет.

Нежелана ха-ха-ха, хи-хи-хи, а он пуще старается. После затих. Притаился.

Она ножки раздвинула, ищет его, найти не может.

– Видать, – говорит – улетела животная насекомая. Ну да и пущай. Мне и с цветком моим сладенько. Жаль только, он не тёплый да не шелко?вистый.

А уж солнышко в окошко вовсю светит.

– Ой, что это я! – спохватилася. – Ведь жених-то мой незваный-непрошеный сейчас проснётся да меня всю и увидит.

Стала рубашки натягивать, следом – платья. Все семь одёж надела, одёрнула рукой, да и обратно пред окошком села, будто и не ложилася. Тут девки-

прислужницы пришли, фрелинды всякие. Убирать царевну стали, косу ей плесть да с ноготков бархатной тряпицей пыль смахивать. Наконец, заметили, что жених-то не шевелится. Никак, задохся? Откинули покрывало – а там ковёр свёрнутый. «Ох, – говорят, – ну и пострел!»

Тем временем царь Пантелей проснуться изволил. Забрался на трон, дочку призывает с женихом спытанным. Так и так, ему докладают, жениха след простыл. Осерчал царь, а тут Нежелана входит.

Поклонилась батюшке до земли. И в этот самый миг Еська из засады своей выбрался да промеж ножек-то ейных прохаживаться стал. Крылышками потряхивает, ножками посучивает, усиками пошевеливает.

Глядит царь: что это с дочкой сделалось? Вьётся вся, подскакивает, ножками перебирает, ручками себя оглаживает, причём самым что ни есть непотребным образом.

– Что это с тобой, касатка? – батюшка спрашивает.

Та только хохочет да приплясывает. А Еська разошёлся не на шутку. До жопочки самой добрался. По ягодичкам побегивает, аж покусывать стал. После обратно к цветку воротился, соку живого отведал – вовсе остервенился.

Тут уж Нежелане Пантелевне невмоготу стало: скинула она платье перво, после второ платье, за рубашки взялась. Ладно хоть, последню, седьму рубаху оставила. Да для царевны-то и то? негоже – в одной рубашонке, будто девка дворовая, расхаживать.

Тут Еська наружу выбрался. Крылышки расправил, да как зажужжит! Нежелана обратно в светлицу кинулась, а он наперёд залетел, не пущает, к двери гонит. Делать нечего: царевна прочь со дворца кинулась.

Девки ейные с фрелиндами – следом. За ними – стрельцы. Там и дворяне с боярями схватились. Царь-то ножками топает, кричит:

– Кто дочку мою приведёт, безо всяких спытаний зятем моим станет.

Дворянам-то с боярями оно и лестно.

А Еська Нежелану прочь от дворца гонит. Те следом, да куды угнаться! Их-то, небось, никто не язвит.

Добежали до крестьянского надела. Тут Еська об землю ударился. Да обратно собой обернулся.

Встал перед царевной:

– Нежелана Пантелевна, вот он я. Не вели казнить, вели слово молвить. Я тайну-то твою ведаю. Зря ли животной насекомой всю её истоптал, обшарил? И чем невинных людишек в темницу-то кидать, шла б ты лучше замуж подобру-поздорову, как батюшка велит.

– Ах ты, мужик негодный! – закричала Нежелана, да царской своей ручкой ему оплеуху как залепит!

Сама залепила и сама замерла:

– Вот оно где тепло да шелко?во! Так это, знать, ты был?

– Я, милая моя.

Тут Нежелана берёт Еську за руку, да к батюшке свому ведёт. А девки с фрелиндами, стрельцы да дворяне с боярями, ясно дело, следом тащутся.

– Так и так, – царевна говорит, – вот он, мой жених.

Царь обрадовался, в ладоши захлопал. Ну? Еську цаловать! Враз его в генералы пожаловал. Только Еська на всю эту доброту так сказал:

– Ничего мне не надобно. Какой с меня генерал? Да и в зятья царские я не гожусь. А ты, Нежеланушка, мужа себе почище выбери. Подходящего.

Тут Нежелана его за ручку берёт, в сторонку отводит, да и шепчет на ушко:

– Чего ж ты деешь-то? Как я за другого-то пойду, когда у меня сам знаешь, чего промеж ног? Нет уж, ты мою тайну вызнал, тебе её и хранить.

– Да каку? таку тайну? – Еська отвечает.

И только он это промолвил, звон раздался. Нежный такой, будто бубенчики зазвенели. Нежелана только «Ой» сказала да в сторону отскочила. А на полу паркетном лепестки серебряны рассыпаны, и серёдка золотая тут же. Царевна ручку-то вниз по животу спущает – ничего. Она ладошкой шасть под рубашоночку, благо, одна всего на ей осталася – а тама: Ну, чё вам баять? Сами, небось, ведаете, чего заместо цветка можно сыскать в ентом самом месте.

Царь как злато с серебром увидал, кричит главному боярину:

– Бери богатство, да в казну волоки.

Но только тот к лепесткам руку свою протянул, они и растяли. И серёдка золотая так же. Боярин руками-то и развёл.

А Еська смеётся:

– Да где ж это видано, чтоб мандовочное-то богатство в казнах да сундуках таилось? Оно теперя воздухом стало. Ефиром, сказать по-научному.

И впрямь, дух стал в зале ядрёный, сладкий-сладкий. Одна фрелинда аж без памяти упала, но её дворяне живо ухватили да ощупкой в себя привели.

Тут все пуще стали Еську миловать. И стрелец с рубежа тут же был.

– Ну ты, парень, и хват, – говорит. – Я уж не думал с тобой сызнова встретиться.

Короче, честь Еське воздали – заморский анпиратор такой не выдывал. Насчёт анпиратора-то как раз Пантелей-царь сам стал кумекать: как бы с ним породниться. Тут уж и Нежелана загорелася:

– Скорее, мол, батюшка, засылайте послов за? море. Я на всё согласная.

Напоследок царь у Еськи спрашивает:

– А како твоё желание? Всё дам. Хошь золота, хошь каменьев бесценных. Полцарства только не проси. Одна ведь половинка в приданое за Нежеланкой пойдёт. Коли те вторую отдать, чем я сам править-то стану?

– Ничё мне не надо. Куды я золото твоё с каменьями покладу? – они из котомки-то повывалятся. А вот что ты сделай, батюшка, – выпусти-ка всех с темницы.

Царь на радостях всех и отпустил.

А Еська дале пошёл.

КАК ЕСЬКА ДВАДЦАТЬ ДВЕ МАНДЫ ВИДЕЛ, ДА НИ ОДНОЙ НЕ ИЗВЕДАЛ

Дошёл Еська до реки. Глядит: дорога кончается. И моста не видать. А местечко приветливое: ветер листья ивы колышет, ветки в воде полощутся, будто щекочут речку, а та в ответ лёгким этаким плеском смеётся. И всё будто говорит: отдохни, будь гостем.

Присел Еська на берегу, развязал котомку.

Передохну, думает, и брода поищу.

Вдруг слышит голос:

– Ступай скорей отседова.

Вот те и гостеприимство! Глядит кругом – никого. Только ива ветками сильнее зашевелила.

– Ты, что ль, ива?

– Я. Только не ива я. Была я некогда девицей, звали меня Ирушкой. Послала меня мамка на? берег три ширинки стирать: одну шёлком шиту, другую – се?ребром отороченну, а третью – золотой нитью изукрашенну. Всех их я вымыла, да на ветку сушиться повесила. А сама купаться вздумала. Вдруг сверху Чудо Трёхъелдовое как налетит, схватило ширинки и шасть ввысь. Я на берег выскочила, звать на помощь стала. А Чудо оттеда, с высито, как зыркнет, я и обомлела. Чую: будто ноги в землю вросли. Хотела руками взмахнуть, а на их – листья. Крикнуть пытаюсь – шелест раздаётся. Вот так, была я Ирушкой, да стала ивушкой. А Чудо Трёхъелдовое что ни день сюда прилётывает, е?лды свои в воде полощет. Ты, видать, парень лихой, да только не ищи встречи с ним.

– Нет, милая, – Еська ей отвечает. – Дождусь я его, поганого. А ты спрячь меня промеж веток-то своих.

– Да почто тебе это надобно?

– А там видно будет.

Тут вихорь поднялся. Еська промеж веток затаился, да подпояску свою приготовил, а портки-то верёвкой, которой котомка перевязана была, прихватил. Хоть и неудобно энто было, потому верёвка куды короче опояски оказалася. Глядь: сверху Чудо Трёхъелдовое спускается. Одна елда спереди болтается, да с боков – по одной. Заместо рук крылья, шкура овечья, а голова человечья.

Опустилось Чудо, вошло в воду по пояс, стало елды в воде полоскать.

А Еська с-под листьев приговаривает:

– Теки-теки, водица, – авось не пригодится.

Услыхало это Чудо Трёхъелдовое, говорит:

– Чего это у тебя, ива, за присказка така нелепа?

А Еська дале:

– Теки, водица, впредь – ничё елдам не еть.

Тут уж Чудо осерчало не на шутку:

– Молчи, деревяшка, не то с корнем тебя выверну.

– Ты, Чудо гадкое, меня в дерево обратило, жизнь мою радости лишило, вот и вещаю я, что боле тебе от елд твоих пользы не видать.

– Ах так! – Чудо молвит. – А вот поглядим.

Как махнёт елдой левою – мало не сшибло иву. Только Еська не спужался, конец опояски на неё, оконечность-то Чудову, накинул, да и затянул покрепче. Осерчало Чудо, правой елдою махнуло – закачалась ива. А Еська вторым концом прихватил да туго-натуго елды-то и связал. Тут уж Чудо елдою среднею, самою могучей, размахнулось. Ива с корнем на берег повалилася, да только Еська успел опояской и энту елду прихватить да к первым двум приторочить.

Вышел Еська из листвы, увидало Чудо, кто это с ним шутку учудил. Стало о пощаде молить:

– У меня, – говорит, – всяки-разны сокровища припрятаны, и платья парчовы, и обувка сафьянова. Что хошь бери, только елды-то мои ослобони. Потому у меня заместо рук крылья, мне самому не сладить с путами.

– А ты Ирушку попроси. У ей, знамо, руки-то половчей моих будут.

– Эх, добрый ты человек, да глупый. Я ж тебе вона каки? богатства сулю, а ты об дереве глупом жалишься.

– Как знашь, – Еська молвит. – Твои елды, тебе и решать, век им связанными быть, аль обратно дело своё елдовское делать. Только помни: путы мои зачарованы, окромя меня кто к им притронется, руки у того враз отсохнут.

Пуще прежнего Чудо взмолилось:

– Чего хошь проси, а только не могу я иве помочь. Я ширинки бабе своей отдал, она с ими вовек не расстанется. А без них дерево так деревом и останется.

– Ладно, – Еська говорит. – Неси меня к бабе своей.

– Да как же я пред ней явлюсь, с елдами-то связанными? Ну, как она под меня лечь возжелает?

– А ты ей так скажи: «Над лугами, над полями я летал, в речке елды свои полоскал. Притомился – едва домой воротился». Она от тебя и отстанет.

Видит Чудо: у Еськи на два вопроса три ответа находятся. Делать нечего.

– Залазь, – говорит, – на спину мою.

Взобрался Еська Чуду на спину, в шерсти спрятался. И полетели они под облака. Летят себе, а Чудо-то и молвит:

– Гляди, как лететь ловко стало. Ране-то елды по сторонам развевалися, а теперь вовсе полёту не мешают. Это, брат, еродинамика така.

– Так что ж? – Еська спрашивает. – Может, и не распутывать тебя вовсе? Так и летай.

– Нет, пущай уж летать хужей будет. Я уж к тому привычный.

Долго ли, коротко летели, над полями-лугами пролетали, до леса непролазного добрались, наземь спустились. Пред лесом холм, в холму пещера. Из пещеры выбралась жёнка Чудова – Баба Трёхмандовая. Одна манда промеж ног, да с боков по одной.

Стала она Чуду пенять, что долго, мол, не было его. А Чудо-то и отвечает:

– Над лугами, над полями я летал, в речке елды свои полоскал. Притомился – едва домой воротился.

– Ну и ладно, – Баба говорит. – Ступай в пещеру спать.

Чудо в пещеру ввалилось да на солому повалилось, а Еська из шкуры выбрался и к выходу подполз.

Только Чудо захрапело, Баба как свистнет! Аж ветки на деревьях закачались.

Не успел Еська глазом моргнуть, вихорь поднялся. Глядит: сверху спускается Чудо Семиелдовое. Заместо рук крылья, шкура овечья, голова человечья, да семь елд болтаются: три промеж ног, да по паре с боков.

Баба Трёхмандовая навстречь ему бежит, руками машет, грудьми трепещет, да ма?нды на бегу распахивает:

– Здравствуй, мил-дружок, – говорит. – Мой-то дурень над лугами, над полями летал, в речке елды свои полоскал, притомился – едва домой воротился, да спать завалился.

И ласкает она Чудо Семиелдовое, пёрышки на крыльях разглаживает, кудряшки на шкуре завивает, елды евонные потряхивает. Елды-то вздыматься и стали: что слева – слегка ожили, что справа – вбок глянули, а что промеж ног были – пупа достигли.

– На-тко, милая моя, – Чудо говорит, – каки? хошь выбирай.

Бабе-то, ясно дело, середние боле иных глянулись. Тут они наземь и повалились.

И уж как они катались, как миловались, траву всю примяли. Одной слюны с ведро натекло, а уж сколько молофейки Чудо выпустило – про то одна Баба знает, да нам, знамо дело, не поведает.

Наконец встали на ноги. Прощаться стали. Чудо-то Семиелдовое и говорит:

– Ох, и заругает меня жёнка, коли я без гостинца ворочусь.

– А не горюй, друг сердешный, – Баба Трёхмандовая отвечает, – вот для ней гостинец.

Шасть в пещеру, да две ширинки выносит, одну шёлком шиту, вторую се?ребром отороченну.

– Ничё, – говорит, – мой дурак мне ещё принесёт.

Стало Чудо её благодарить да заново цаловать-миловать. Еська тем временем ему на спину забрался да в шерсти притаился.

– Что это, – Чудо говорит, – будто что? щекочет промеж крыльев.

– Верно, мураши с травы набрались, – Баба отвечает.

– Да нет, – Чудо молвит. – Я мураший кислый дух знаю, а энтот вовсе иной, солёный, навроде человечьего. Да и не почую я мураша, больно мал он. Поглядь-ка средь шерсти-то моей, кто тама таится.

«Ну, – Еська смекает, – худо дело». Тихонько этак с Чуда сполз, промеж травы примятой просклизнул и нырк! – в Бабью-то волосистость. Оно б лучше в косе ейной утаиться, да тут уж каки? волоса поближе, промеж тех и залез. А каки? поближе были, об том любой смекнет – те, что на середней манде-то повыросли.

И только вздохнул Еська, облегчение на миг почуяв, как едва разум с его вон не вылетел – такой из манды дух валил. Он бы, дух-то энтот, и сладок был, да только мощи такой непомерной, что не только что Еську аль иного какого человека, а и заморского зверя скунсия, который есть средь всех тварей земных сама развонюча тварь, и ту б учуять не можно было.

– Гля-ко, – Чудо молвит, – вроде, прошло. Но ты на всяк случа?й поглядь в шерсти моей.

А Баба, заместо чтоб его просьбу уважить, ну? смеяться, ну? хохотать! Едва наземь не рухнула. Чудо аж обидка взяла:

– Ты чего ж это над моей бедою потешаешься?

– Ой, хо-хо! Не потешаюсь я, а больно щекотно мне самой промеж ног.

И обратно хи-хи да ха-ха.

Еська затаился, ей полегчало чуток. А Чудо по-иному заговорило:

– А! – говорит. – Промеж ног? Да это, – говорит, – небось мандавошка у тя. Мужик-то твой трёхъелдовый, знать, её и принёс, да ты мне и передала, вона опять зачесалося! Ах ты, така, мол, и сяка! Ну, как она теперя от меня к жёнке моей перескочит?

Тут уж и Баба Трёхмандовая рот раскрыла:

– Ты, знать, об ей всё думашь. А про меня и позабыл вмиг. Ах ты, та?кий, мол, и расссякий.

Короче сказать, поругались они напрочь. Чудо Семиелдовое крылья свои распахнуло, плюнуть хотело, да вся слюня его уже срасходована была. Так всухую и полетело. Едва Еська успел к ему обратно в шкуру перескочить.

Взмыло Чудо по-над лесом. Летит да про себя ругается. А Еська мыслит, что ему энто дело вовсе не на руку: коли Баба в сердцах будет, она ни за что ширинку не отдаст. Так ли, сяк ли, а надо её ублажить. Пополз он промеж шкуры тихонько к голове Чудовой, да и молвит распевным гласом:

– Неладно ты, Чудо Семиелдовое, поступашь.

Чудо с испугу и крылами махать перестало, вниз едва не рухнуло. Тут уж Еська своим обычным голоском как заорёт:

– Маши, маши давай! Не то расшибёмся мы с тобой!

Чудо вновь крыльями замахало, да и спрашивает:

– Ты кто такой? Никак мандавошка говорящая? Только почто ты на главу мою влезла?

А Еська нараспев молвит:

– Я не на главе твоей, а в нутре ейном. Потому я глас твой нутряной али, иначе сказать, совесть.

– Быть того не может, – Чудо отвечает. – Спокон веку у нас, Чудов-то, совести не бывало.

– Ан вот же есть. Только мы, совестя ваши, махонькие да слабенькие, да и спим всё время. А вы тут давеча с Бабою так расшумелись, что разбудили меня.

– Ан теперя, вроде, потише стало, ты обратно спать заваливайся.

– Нетушки, – Еська смеётся, – коли совесть проснулась, её так запросто обратно не угомонить. Вот ублажи Бабу обратно, чтоб она тебя простила, я и усну.

Чудо едва сызнова крылами махать не бросило:

– Ты что ж это, – молвит, – хотишь, чтоб я пред бабою унизил свою достоинству Семиелдовую? Не бывать тому! Хоть ты сгрызи всё нутро моё, не бывать! Вона чего захотела, совесть поганая, – пред бабами виноватиться!

Хотел Еська сказать, что пред кем же ж ещё и виноватиться, как не пред нимя, но смекнул, что энтого Чудо всё одно не поймёт, да ещё, неровён час, решит, что он не его, Чуда, совесть, а чужая, навроде мандавошки с Бабы перескочившая.

– Ан и ладно, – говорит. – Только я чего боюся? Вдруг она в сердцах твоей жёнке Семимандовой всё поведает. Бабы – они ведь на месть больно злобны, и сама пропадёт, а и тебя сгубит.

Тут уж Чудо спорить не стало:

– Вот это ты дело баешь, а то мне уж мысля закралась, что ты не моя совесть, а чужая, навроде мандавошки забравшаяся. Так чего ж мне делать-то? Я ж ране никогда таких делов не ведал, подскажи, коль проснулася.

– А и делов-то всего, что на полянку сесть, цветов нарвать, да ей снесть.

– Да чем же мне их рвать? У меня ведь рук-то нету.

– Ну так и быть, сам нарву.

Чудо на полянку опустилося, Еська с его слез, зачал цветы рвать. Чудо глядит, да диву дается:

– А ты, верно, совесть-то? Больно ты на человека смахивашь. Да и дух от тя человечий, солёный.

Но Еська и тут не растерялся:

– Коли б ты меня в моём истинном обличьи увидал, то вмиг бы зренья лишился. Потому мы, совестя-то, с чистого солнечного света сваяны, а для таких вот оказий, чтоб вам на глаза показаться, у нас запасно обличье имеется. Навроде как платье обиходное.

И тому поверило Чудо, да и как не поверить, коли Еська ему подсказку делает, как из беды вывернуться. Совесть и есть! Только одного в толк взять не может – чего это Еська таки невзрачны цветы рвёт. Чудо ему на лопухи да одуваны кажет:

– Чего энти не берёшь? Они ж самы красивы. У энтих листья в соразмер выходят. А энти пушисты, на мою шерсть похожи. Пущай ей обо мне напоминание будет всякую минутку, как она на их глянет.

– Нет, бабам иные цветы любы.

– Неужто?

– А ты махани крылом – увидишь, что от их останется.

Махнуло Чудо крылом, от одуванов одни стебли осталися, а как пух ему в ноздри набился, такой чих поднялся – едва Чудо совесть свою, Еську стало быть, напрочь не сдуло.

Наконец набрал Еська цветиков поярче да понежнее. Чудо, правду молвить, малость сомневалося: больно, мол, махоньки. Но с гласом нутряным боле уж споров не заводило.

Полетели обратным путём к Бабе Трёхмандовой. А та стоит посредь полянки пред пещерою, навроде поджидает. Чудо думало, она его сызнова бранить зачнёт, однако ошиблося. Баба цветы как увидала, хвать их, да обратно его как прежде миловать стала.

– Ах ты мой хорошенький, – молвит. – Я так и знала, что ты воротишься.

– А откель ты знала? – Чудо спрашивает.

– Да так, – Баба мнётся. – Мне глас нутряной нашептал.

Тут уж Чудо и вовсе в Еськины слова поверило. Помиловалося чуток с Бабою да и восвояси полетело.

Долго ли коротко летело, над чащей пролетало, до горы добралось. Пред горой – поляна, в горе – пещера. Така пещера, что прежняя рядом с энтою мышиной норой покажется.

Из пещеры вылезла жёнка Чудова – Баба Семимандовая: три манды посерёдке, да по паре – с обеих сторон. Стала она Чудо обнимать, да манды свои распахивать.

Елды-то вздыматься и зачали: что слева – слегка ожили, что справа – вбок глянули, да только те, что промеж ног, – и не шелохнулися.

– Ах ты такой-сякой, – Баба Семимандовая закричала. – Признавайся, где шлялся-шатался, по каким блядям таскался!

А Чудо-то и отвечает:

– Над полями, над лесами я летал, в речке елды свои полоскал. Притомился – едва домой воротился. А ты не серчай: я тебе гостинец принёс.

Взяла Баба Семимандовая две ширинки, снесла в пещеру. Воротилась, три манды обратно запахнула да на траву повалилась. Стали они кататьсямиловаться, четырьмя елдами в четырёх мандах ковыряться. Не спрячься Еська обочь полянки, придавили б его и не заметили.

Наконец притомились. Чудо в пещеру завалилось. А Еська с-под кустов глядит, что дале будет.

Только из пещеры храп Чудов донёсся, Баба как свистнет. Листва с деревьев полетела, кроны закачалися.

Вихорь поднялся. Глядит Еська: с неба спускается Чудо Двенадцатиелдовое. Заместо рук крылья, шкура овечья, голова человечья, да дюжина елд болтается: три промеж ног, да по? три с боков, да три ещё на груди.

Баба Семимандовая навстречь ему бежит, руками машет, грудьми трепещет:

– Здравствуй, мил-дружок, – говорит. – Мой-то над полями, над лесами летал, в речке елды свои полоскал, притомился – едва домой воротился, да спать завалился. Три манды мои огнём горят, тебя ждут не дождутся.

Да и стала Чудо Двенадцатиелдовое обнимать, миловать. Шёрстку в завитки крутит, пёрышки на крыльях разглаживает, елдами потряхивает. Они, ясно дело, вздыматься стали: что слева – слегка ожили, что справа – вбок глянули, что промеж ног – пупа достигли, ну а те, что на груди, – едва носа не перешибли.

– На-тко, милая моя, – Чудо говорит, – каки? хошь выбирай.

Ну, у ней-то тож губа не дура: те, что на груди, выбрала. Распахнула три манды свои необихоженные, да на травку повалилась.

Уж как они и катались, и миловались, траву на поляне напрочь вымяли. И слюны, молофейки было напущено в полной что ни есть соразмерности.

Наконец встали на ноги. Прощаться стали. Чудо-то Двенадцатиелдовое и говорит:

– Ох, и заругается жёнка, коли я без гостинца ворочусь.

– А не горюй, друг сердешный, – Баба Семимандовая отвечает. – Мой дурень гостинец принёс, да я его те уступлю за ласку за твою.

И отдала ему ширинку, шёлком шитую.

Стало Чудо её благодарить да заново цаловать миловать. Еська уж знал, что ране времени с укрытия свово вылазить не стоит. И не прежде, как Чудо крылья свои развернуло, в кудели-то его пробрался.

Воспарило Чудо, в самые горы полетело.

Летит-летит, чует кто-то по ему ползёт. Стало Чудо спиной на лету потряхивать – видать, решило: что-то в шерсть набилось, так смахнуть. И смахнуло бы, коли б Еська и с ним разговор не повёл:

– Не тряси, – молвил, – не поможет.

Да и сразу добавил:

– Только и крылами махать не бросай с изумлению.

А Чудо в ответ:

– Да как же не изумляться, коли на мне – на само?м Чуде Двенадцатиелдовом! – кака?-то тварь невзрачна пристроилась, будто я лисопед какой. Вот щас с изумлению-то махать и брошу.

– Не бросай, – Еська молвит. – Потому я не тварь никака, а небесный дух. И расшибить меня тебе всё одно не под силу, а что сам расшибёшься, энто уж твоё собственное дело.

– А, ну раз дух, то тогда ина ситувация, – Чудо молвит. – Только я допрежь не слыхивал, чтоб на нас, Чудов-то, небесный дух слётывал.

– А допрежь того и не бывало, – Еська отвечает. – Потому вашему брату тако велико чувство, как любовь, неведомо было.

– А и мне неведомо, – Чудо говорит.

– Доселе было неведомо. А отныне я его в тя вдохну, и ты перво и едино Чудо в цельном свете будешь, которо любовию помечено.

– Не делай того! – Чудо взмолилося. – Нешто мне худо было без любови энтой?

– Худо аль ладно, до того мне дела мало, – Еська молвит. – А надо мной ить тоже начальствие имеется. Как оно распорядилося, так я и поступаю.

– Да нешто я такой особый, чтоб меня твоё начальствие небесное наособь от иных отметило?

– Знамо дело, особый. Потому у тя ширинка есть заветная.

Тут Чудо взъярилося так, что и сказать нельзя:

– Ах она, – говорит, – паскудница поганая, негодница Семимандовая! Навроде гостинца мне её всучила, а сама, выходит, меня любовию-то изувечить желала!

– Точно, точно так, – Еська молвит. – Только ты уж на её не серчай больно. Да и кака? друга? баба на ейном месте так бы не сделала? Ты же ж вона какой ладный да могутный, всяка б тебя любостью пометить возжелала.

– Нешто правду баешь? Будто ладнее да могутнее меня и в свете нету?

– Нету, – Еська молвит.

– Ну, в энтом разе не стану её карать. Только и мне любовь без надобности. Пособи мне, дух небесный.

– Так и быть, – Еська молвит. – Давай мне ширинку, а то с меня и так уж портки спадывают.

– Да нешто у духов небесных порты имеются? – Чудо засомневалось.

– Имеются. Порты, они у всех имеются. Ну так даёшь ширинку аль нет?

– Да бери её, проклятую!

Взял Еська ширинку, ею и повязался – заместо опояски, что у первого Чуда на елде осталось.

А Чудо тем временем мимо круч пролетело, за облака поднялось, до самой вершины добралось. А на вершине, как Еська уж и чуял, поляна. Вкруг неё тучи-облака, обочь поляны – пещера. Така пещера, что прежняя рядом с энтою щёлкой тараканьей кажется.

Из пещеры выбралась жёнка Чудова – Баба Двенадцатимандовая: три манды промеж ног, да по? три с боков, да три ещё промеж грудей. Стала она Чудо обнимать, да всю свою дюжину манд распахивать.

У него елды вздыматься и стали: что слева – слегка ожили, что справа – вбок глянули, что промеж ног – до пупа поднялись, да только те, что на груди – и не шелохнулись. Баба, ясное дело, в крик:

– Ах ты такой-сякой! Признавайся, где шлялся-шатался, с какими потаскушками знался!

А Чудо-то и отвечает:

– Над лесами, над горами я летал, в речке елды свои полоскал. Притомился – едва домой воротился.

Только Баба Двенадцатимандовая не унимается:

– Добро б, мол, ещё гостинец принёс! Лети откеда явился, шалапут недоелдый!

Еська Чуду в ухо шепчет:

– Да растолкуй ты ей, что заместо гостинца любовь небесную доставил.

– Да нешто это против гостинца сообразно?

– Ан ты спытай!

Делать нечего, Чудо вздохнуло и слово в слово так молвило:

– Жёнка моя ты милая! Не привёз я для тя гостинца, а привёз куды против него вещь наилучшую – любовь свою.

– Каку? таку любовь?

– А таку. Небесну. Ко мне по пути дух оттелева слетел и чувство энто велел тебе передать.

А сам-то прям скукожился весь, ждёт, что Баба осерчает вконец: на что?, мол, така глупость бесполезна заместо гостинца! Ан и ошибся! Она, насупротив, его ласкать-миловать стала: мол, впрямь ты, муженёк мой ненаглядный, притомился, три елудшки, небось, в полёте застудил; разве ж можно, мол, сразу опосля полоскания на воздуха? сквозные вылётывать?

А он знай кивает:

– Застудил, застудил, истинно так? К тебе поспешал, вот и не дождался, чтоб они обсохли.

– Ну ничё, я ж тебя утешу!

Запахнула Баба Двенадцатимандовая три манды, да на траву повалилась. Стали они кататься-миловаться, девятью елдами в девяти мандах ковыряться. Не успей Еська средь облак затаиться, придавили б его и не заметили.

Наконец угомонилися. Чудо в пещеру завалилось. А Баба-то села на камень, пригорюнилась да причитывать зачала:

– Эх, что мне теперя делать? И муженёк-то у меня славный, ласковый, и девять елд моих утешил, да три-то остатние горят огнём.

Тут Еська из облак вылез и говорит:

– Не горюй, не печалуйся, сударыня-Баба. Знаю я способ горю твоему пособить.

– Уж не ты ль, козявка одноелдая, меня утешить можешь? Вот посажу я тебя в клеть, да и съем на ужин.

– Не делай этого, – Еська молвит. – А я за то тебе пособлю.

Не хотела верить Баба Двенадцатимандовая, да больно, видать, горело всё у ей в нутре.

– Ладно, – говорит. – Но коль обманешь, съем тебя и косточек не оставлю.

– Сади меня на плечи свои и неси куда скажу.

И пошла Баба с Еськой на плечах тропою горною. Долго ли, коротко, спустилися с гор, пришли к пещере Чуда Семиелдового.

– Тута? – Баба спрашивает.

– Погодь, – Еська отвечает.

Из пещеры храп Чуда доносится, а навстречь им Баба Семимандовая выходит. Увидала госпожу Двенадцатимандовую, в пояс ей поклонилася.

Стала угощать гостью важную.

А Еська тихонько ей говорит:

– Рада ль ты знакомству с барыней этакой?

– Ой, как рада!

– А не хочешь ли, чтоб я ей всё поведал, отчего тута трава вымята?

– Да откель ты чего знашь? Может, ты врёшь всё?

– А поглянь, чем я опоясан-то!

Увидала Баба ширинку, шёлком шитую, спужалася, что он и впрямь всё знает, да и шепчет:

– Чего хошь, всё сделаю, только молчи!

– Ан отдай мне ширинку, се?ребром отороченную.

Той только и осталось, что согласиться.

Получил Еська серебряну ширинку, за шёлкову заткнул, обратно на Бабу Двенадцатимандовую забрался.

Пошли они дале. Внутри Баба вся огнём горит, сквозь чащу непролазную напрямки так и ломится.

Из лесу вышли, видят пещеру Чуда Трёхъелдового.

– Тута? – Баба спрашивает.

– Погодь ещё чуток, – Еська отвечает.

Навстречь им хозяин выходит, следом жёнка его Трёхмандовая, увидали барыню Двенадцатимандовую, до земли ей поклонилися.

Чудо Еську увидало, обрадовалось: уж не чаяло с ним встретиться.

Баба Трёхмандовая гостью знай угощает, да той кусок в горло не лезет:

– Скоро ль, Есюшка?

– Мало уж осталося.

И тихо так Бабе Трёхмандовой шепчет:

– А не поведать ли мне Чуду твому, отчего трава-то примята?

Слово за слово – увидала Баба, чем Еська опоясан, да и пришлось ей с ширинкой, золотой нитью изукрашенной, расстаться. Еська её за шёлкову ширинку спрятал, да и говорит:

– А пущай нас хозяин добрый дале проводит. Ну,? как мы в поле тропку потеряем? Пошли дале. Дошли до рощицы.

– Тута? – Баба Двенадцатмандовая спрашивает.

– А теперь тута, – Еська отвечает.

Соскочил с плеч ейных, да с Чуда все путы скинул.

Поняло Чудо, чего от него требовается, да и пуще прежнего загорюнилось:

– Как же я с дюжиной-то манд управлюсь?

– А ты не пужайся, – Баба ему в ответ. – Мне всего и надо – три остатние остудить.

Уж о том, как Чудо Трёхъелдовое с работою своей управилось, я вам сказывать не стану. Потому: сам не знаю. Да и Еська того дожидаться не стал.

Пошёл он прямо к реке. А ива, Чудом из земли вывернутая, на берегу лежит. Уж и листья пожухли, и ветки до воды не достают.

– Эх, опоздал!

Заплакал Еська, ширинки достал и ствол ими укрыл: спи, мол, ивушка!..

Вдруг слышит голосок звонкий:

– Спасибо тебе, Есюшка!

Глядь: а на месте ивы девица стоит, в три рубашки одетая: одна шёлком вышита, другая се?ребром оторочена, а третья золотой нитью изукрашена.

Повёл Еська Ирушку в село. Уж там её отец с матерью и оплакали давно. То-то радости было! Три дня пировали, на четвёртый Еська в путь собираться стал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/pershin_mihail/es-ka

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити